



В. В. РОЗАНОВ

Наш «Антоша Чехонте»

Мечта юности или грусть юности — как и первая любовь, не забывается до старости. Она кладет на личность человека неизгладимый отпечаток.

Теперь среди портретов «любимых писателей» вы во всякой образованной семье, в комнатке всякого студента или курсистки встретите портрет или карточку «Антон Чехова»... И среди бородатых, могучих в лепке матушки-натуры или глубоко оригинальных фигур Тургенева, Толстого, Плещеева, Мея, Некрасова, Добролюбова, Чернышевского — фигура или, точнее, фигурка Чехова представляется такою незначительною, обыкновенною... Слишком «наш брат», то же, что «мы, грешные», — слабые, небольшие и вместе недурные люди. Положенная нога на ногу, подпертая рукой голова, волосы и не большие, и не маленькие, не вовсе гладкие и не слишком волнистые, вероятно, русые, — и это пенсне, до того у всех обычное, — наконец, выражение лица скорее скучающее, чем грустное, — конечно, умное, но без всяких мировых вопросов на себе, без «запросов духа», «мировой скорби» и «политического негодования», — все это как будто сводит Чехова во второй ряд литературных величин!..

«Эх, обывательщина!..»

Это — наша собственная фигура, когда в пору студенчества мы мотались по урокам, или — знакомого, не окончившего курс студента, который, поступя на медицинский факультет, вышел было в юристы, но и юриста из него не вышло, и вот он живет теперь «так», словом, лицо и фигура «обыкновенного русского человека из образованных», сплошь все милых и сплошь все жалких, которые ни в чем не могут помочь и явно нуждаются во вспомоществовании. Гения нет, силы — неболь-

шие, дум, как серых мышей,— толпы, но все незначительных, обыкновенных, которые не могут дать человеку большой судьбы.

«Эх, русское бессилие!..»

Но все так умно, душевно,— как вы не встретите у заграничного «авиатора», — «завоевывающего воздух», черт бы его побрал. У «авиатора» такая же деревянная душа, как и весь его деревянный аппарат, и только удивительным образом на этом «ничто-человеке» выросла одна чудовищной величины способность вот к авиации или к передаче звука по проволоке. Чехов, конечно, никогда не выдумал бы даже новой зубочистки, «более удобной и приспособленной к культуре», хотя бы из него тянули жилы. И ничего не выдумал бы, да и действительно никогда ничего не выдумал бедный «Антоша Чехонте», которому не удалась медицина, юриста тоже из него не вышло,— и вот, в раздумье и безденежье, он начал писать, что видел и что слышал, и помещать где-то в «Листках» и читаемых по портерным иллюстрированных журнальчиках. Как это поется в нетрезвой песенке:

Фонарики-сударики
Горят себе, горят...
Что видели, что слышали,
Про то не говорят¹.

Чехов начал рассказывать,— и вместо «медицины» у него вышла «литература». Как «обыкновенно у русских»... Именно как ночной мигающий фонарик, мимо которого бегут люди, спешит преступление, готовится скандал, и фонарь всем светит: «добрым и злым», богатым и бедным, никого не удерживая, никому не помогая, но все видит и знает...

Так «Антоша Чехонте» начал писать свои миниатюрные рассказы, в 3—4 страницы, в фельетон длиной, в полфельетона.

— Пока не устал и как длинно выйдет. Точку везде поставить можно.

Оглянулась гордая литература на него, взором назад и вниз: — Это еще что такое?...

Бедный «Антоша Чехонте» съежился... Еще бы не съежиться под величественным вопросом Михайловского, у которого что мысль, то — гора: «о прогрессе истории», о «правде-истине и правде-справедливости», «герои и толпа», «вольница и подвижники»². Но была нужда, да и в душе было что-то такое, что пело... Все «поется и поется», и «Антоша Чехонте» все

«писал и писал»... почти не смея выйти в большую литературу, где сидели люди с такими бородами... Как ассирийские боги. Почти до смерти Чехова продолжалось это недоумение:

Напрасно ухо поражая,
К какой он цели нас ведет?
О чем бренчит? Чему нас учит?³

О, наш всевидец, Пушкин: за сколько лет он предсказал критические вопросы Михайловского о Чехове, установившие тон отношения к нему больших журналов... но не публики. «Публика», серая и непретенциозная, полюбила «Антошу Чехонте», «своего Чехонте», — этого человека в пенсне, совершенно обыкновенного.

Чехов довел до виртуозности, до гения обыкновенное изображение обыкновенной жизни. «Без героя», — так можно озаглавить все его сочинения, и про себя добавить не без грусти: «без героизма». В самом деле, такого отсутствия крутой волны, большого вала, как у Чехова, мы, кажется, ни у кого еще не встречаем. И как характерно, что самый даже объем рассказов у Чехова — маленький. Какая противоположность многотомным романам Достоевского, Гончарова; какая противоположность вечно героическому, рвущемуся в небеса Лермонтову...

У Чехова все стелется по земле. Именно, даже не идет, а стелется... Вернее, растет по земле.

Как жизнь, как природа, как все.

«Сударики-фонарики»

мигающими глазами своими видят, может быть, самое важное в жизни, потому что они видят *самое обыкновенное* в ней, т. е. везде бывающее и чему суждено всегда остаться. Утешимся, как слагатель народных присказок, изрекший:

Дождичек идет
Перед солнышком...
Солнышко взойдет —
Перед дождичком.

Без героического и величия земля тоже не прожила бы, как и без травы и мхов ее не бывает. Даже более: тот гений, та виртуозность, до которой Чехов довел обыкновенный рассказ об обыкновенном событии, свидетельствует, как и всякий апогей и вершина, что мы подошли к краю, за которым начинается «перевал к другому»... Чехов довел нас как раз до взрыва, — поднятия большой волны. И его «Дядя Ваня», «Три сестры»,

«Вишневы сад» по времени почти сливаются, немного отступая назад, с «Песнью буревестника».

Дождик моросит
Перед солнышком...

Но я оставляю в сторону историческое положение беззвучной, глухой музыки Чехова... Это — особая линия размышлений. Мне хочется еще докончить об его музыке.

В юности и героически настроенный человек, конечно, ищет гор, препятствий, борьбы. «Ступай на погибельный Кавказ». Все Бог дал, и все Бог устроил, — в природе и в жизни.

Но в полдень нет уж той отваги, —
Порастрясло нас, нам страшней
И косогоры, и овраги.
Кричим: «Полегче, дуралей!»
Катит по-прежнему телега,
Под вечер мы привыкли к ней
И, дремля, едем до ночлега,
А время гонит лошадей⁴.

Этот усталый полдень жизни и еще более усталый и немного сонный вечер жизни — его и рисовал Чехов с миной горькой и усмешливой. Чехов не был бы Чеховым, не был бы «русским интеллигентом», если бы к простодушной и доброй его поэзии не примешивалась везде эта кислотца. Не жгучая, не острая, — для этого он был слишком «русским», — но все-таки именно кислотца. «Люблю кислые щи с кашей, но на этот раз они уже слишком перекисли, да и каша распирает бока», — вот Чехов и его отношение к жизни, прощающее, с усмешкой, любящее, но не уважающее.

«Что же тут уважать? Конечно, все плохо... И всем ужасно скучно».

Это — припев и «Вани», и «Сестер», и старожиллов «Вишневого сада».

Толстого или Достоевского, даже Тургенева, наконец, ленивого Гончарова Бог или *Natura-Genitrix* * вырубали из большого дерева большим топором. Все крупно, сильно, — в творчестве, в лице их. Сотворение Чехова все шло иным способом. На небольшой дощечке дорогого палисандрового или благородного, или кипарисного дерева из мирных стран Востока, тонкою иглой начертан образ тихого, изящного человека, «вот как мы все», но от «всех» отличающийся чрезвычайным благород-

* Природа-мать (*лат.*).

ством рисунка, всех линий. В Чехове Россия полюбила себя. Никто так не выразил ее собирательный тип, как он, не только в сочинениях своих, но, наконец, даже и в лице своем, фигуре, манерах и, кажется, образе жизни и поведении. «Все вышло, как у всех русских: учился одному, а стал делать другое; конечно, не дожил полных лет. Кто у нас доживает? Гнезда не имел, был странствующий. И все немного музыканил или мурлыкал себе под нос. Ни звука резкого, ни мысли большой. Но что-то такое во всем этом есть, чего нигде еще нет. Что бы это такое? Да, скучно без этого было бы жить. С другим было бы удачнее, счастливее, благополучнее, но скучнее. А этого вот слушаешь, слушаешь и забываешь, что дождь идет, что так глупо все, и не то что миришься с глупым, — этого нет, — но в безмерно глупую и дождливую эпоху находишь силы как-нибудь просуществовать, пересуществовать ее, перетащиться по ней».

Спасибо тебе, поэт. Ты нас баловал, когда всем было очень тяжело. Но в музыке твоей всегда звучала струна, по которой мы знали, что «есть край иной»⁵. И суть твоей песни заключалась в том, что пела-то она об одном, вот «об *этом*», а грезы навевала-то совершенно о другом, «вот о том». И мы под звуки твои и спали, и не спали.

* * *

А впрочем, и настанет «все то же», мы нашего «Антошу Чехонте» не позабудем... Есть «погибельный Капказ», и есть срединная, плоская «Россия», куда обширнее кавказских стремнин... Настоящая мудрость заключается в том, чтобы в героическую эпоху жить героически, а в негероическую эпоху все-таки не разбивать о стену голову. Великое «что делать» всегда останется под солнцем: «что делать» — как недоумение, «что делать» — как бессилие. Беспримерно героическая натура, Достоевский, устами Мити Карамазова сказал:

— В тысяче мук я *есмь*. Корчусь — и все-таки *есмь*⁶.

Это говорит Митя перед каторгой; но сам Достоевский, в горчайшую минуту своего существования, в одном частном письме, порассказав приятелю все напасти, кончает:

— Не правда ли, живуч я, *как кошка*.

Это — когда ее выкинут из третьего этажа в окно, а она перевернется и все-таки побежит.

«Есмь» — самое главное; «есмь» — первое. Рождаемся мы не все для варенья и яблок, но, между прочим, и для кислого

существования. «Что делать!» «*Быть* человеком» важнее, чем быть «сытым человеком» и даже «нравственным человеком», «добрым человеком», ибо, черт возьми, *кто* же будет «сыт-то» или «нравственен», если «*меня* нет», существа с желудком и 10 заповедями? И поэтому я всегда сперва подумаю о том, чтобы «мне остаться на земле», и уже потом подумаю, какими заповедями обставлюсь и по сколько фунтов хлеба буду съедать в день. Все *после* «жизни», все «позади» жизни... Не знаю, для чего мне после этих строк о грустном Чехове хочется кончить, обращаясь в особенности к юности:

— Не убивайте себя!

Никогда, ни за что, ни в каких обстоятельствах, ни даже после преступления или перед ним, — все-таки не убивайте.

Нить, которая *раз* оборвется, — никогда не завяжется. А все прочее, ей-ей, все, не только тяжесть жизни, но и грех ее, даже ужасный грех, — все-таки можно связать ею «вторичный узелок».

* * *

Эту мысль о жизни внушает Чехов тем, что грустная дума и тон его весь полон полужизни. Мерцает, мигает, теплится, но не горит. И, глядя на это «мигающее», долго глядя, вдруг преисполняешься еретического страха: «Вдруг погаснет». И кричишь: «Зажигай все, лучше все зажигай, неужели эти ужасные темень и хлад, когда вдруг все погаснет!»

